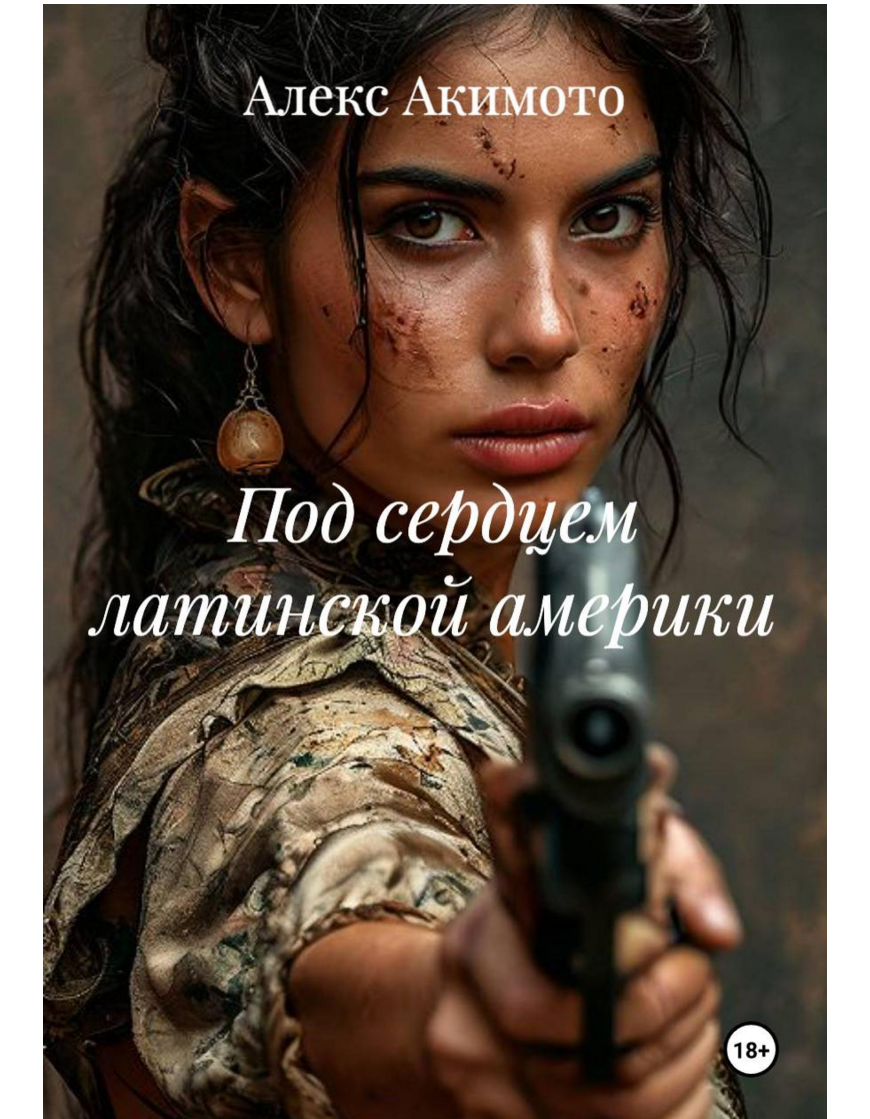


A close-up portrait of a woman with dark, curly hair. She has several cuts and abrasions on her face, particularly around the eyes and nose. She is looking directly at the camera with a serious expression. She is holding a black handgun in her right hand, pointing it towards the viewer. She is wearing a patterned, possibly traditional, garment and a large, round, amber-colored earring. The background is dark and out of focus.

Алекс Акимото

*Под сердцем
латинской америки*

18+

Алекс Акимото

Под сердцем латинской америки

<https://litres.ru/74328468>

SelfPub; 2026

Аннотация

Меня зовут Миа Арена. У меня три имени — и три судьбы. Дома я Мими. На войне — Джуджу. А он назовёт меня Джули, шёпотом, так нежно, что я забуду всё, кроме его голоса.

Я выросла в Кордове, где моя мать учила меня умирать, а отец — убивать. В четырнадцать я впервые выстрелила. В двадцать семь меня послали убить Данте Моретти — главу вражеского клана, человека, который старше меня на тридцать лет.

Но Данте не враг. Это тот, кто ждал меня всю жизнь. Тот, кто спас меня, когда мне было девять и я стояла на табурете с пеглём. Тот, кто видит во мне не оружие, а женщину.

Между кровью кланов и песней, которая звучит во мне с рождения, мне придётся выбрать: исполнить приказ отца или послушать сердце.

Потому что песня не лжёт. И песня говорит: он — мой. Навсегда.

Содержание

Глава	4
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	5
Под сердцем Латинской Америки	5
Глава	7
ГЛАВА 1. ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА МИР	8
ГЛАВА 2. ПЕРВАЯ КРОВЬ	13
ГЛАВА 3. ТРИ ИМЕНИ	21
ГЛАВА 4. КАФЕ «ЭЛЬ ХАСМИН»	34
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Под сердцем латинской америки

Глава

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Под сердцем Латинской Америки

Дорогой читатель,

Эта книга родилась не из вымысла. Она родилась из памяти. Из чужой боли, которую я носил в себе так долго, что она стала моей. Из чужих судеб, которые я видел так близко, что они оставили шрамы и на моих ладонях.

Миа Джульетта Аренас — не выдуманная героиня. Она живёт. В каждой женщине, которая пыталась умереть и не умерла. В каждой девочке, которая любила мир так сильно, что мир отвечал ей жестокостью. В каждой дочери, которая смотрела на свою мать и видела в ней одновременно палача и жертву.

Я писал эту книгу, чтобы рассказать историю, которую мне доверили. Историю о кланах Аренас и Моретти, о крови и чести, о песне, которая звучит из-под сердца и не имеет конца. О любви, которая приходит тогда, когда ты стоишь над тем, кого должна убить. И не убиваешь.

Эта книга не о мафии. Не о насилии. Не о мести.

Эта книга о том, как научиться дышать заново. Как полюбить мир, который тебя не полюбил. Как простить тех, кто тебя ранил. Как найти в себе ту маленькую девочку, которая

когда-то верила, что всё будет хорошо. И поверить ей снова.

Вы найдёте в этих страницах запах жасмина и пороха. Вкус вина и крови. Звук колоколов и тишину после выстрела. Вы найдёте Кордову — не ту, что в путеводителях, а ту, что живёт в сердцах тех, кто там родился. Ту, что пахнет страхом и любовью одновременно.

Вы найдёте Мими. Ту, которая любила мир. Несмотря ни на что.

И если в какой-то момент вам станет тяжело читать — закройте книгу. Подышите. Вспомните, что вы не одни. Что где-то есть тот, кто прошёл через то же. И выжил. И поёт.

Пойте вместе с ней.

Потому что песня не лжёт. И песня говорит: ты нужен этому миру. Даже если мир этого не знает. Даже если ты сам в это не веришь.

С любовью и благодарностью, Алекс Акимото
Кордова — Москва, 2025

Глава

ГЛАВА 1. ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА МИР

Моя мать пыталась убить меня четыре раза.

Я знаю это, потому что считала все эти разы. Они, независимо от того, нравилось мне это или нет, легли глубокими шипами в моё юное сердце. Да, именно шипами, как бы это ни звучало, потому что мою мать зовут Роза. И эти шрамы подобны тем лепесткам, которые находятся на запястье её левой руки, — как рок, как наваждение, которое мне приходилось видеть почти каждый день. Моя мать приводила многих мужчин и занималась любовью рядом со мной. Взрослые мужчины, лаская мою мать, могли трогать и меня за интимные места. Да, это было мерзко. Но люди пьяные, обуреваемые страстью и похотью, совершают мерзости не только по отношению к себе, но и по отношению к другим. И я считала не только шрамы в душе — я считала тех мужчин, которых она приводила в наш дом, в мою постель, думая, что я сплю. Но я не спала. Я всё видела и всё пережила. Как и пепел в волосах моих кукол, и окурки в моей кружке, которая стояла возле кровати с водой, поставленной на ночь, — брошенные в неё теми, кто курил после секса с моей матерью, лёжа на спине.

Я запомнила всё. Не потому что хотела умереть, а потому что страстно хотела жить. И каждый раз, когда мать пыталась меня убить, я понимала: я нужна этому миру, даже если мир этого не знает. Даже если мать не знает. И если я сама в этом сомневаюсь — я должна жить. Я нужна! Иначе зачем меня спасал этот мир, останавливая её руку, вытаскивая мою голову из воды? Зачем рвать верёвку, как нить, на которой могли подвесить целого быка?

Кто-то спасал меня всегда, в самый последний момент. Не мать, не мой нерадивый отец и даже не случайность. Что-то другое. Что-то, чего я не видела, но очень чувствовала в минуты горести и отчаяния. Внутри меня начинала звучать песня, слов и музыки которой я не понимала и не могла воспроизвести, сколь тщетно бы я ни старалась. Эта мелодия сопровождала меня, идущую в школу, смотрящую на бесчисленное множество колибри по утрам. Они так были все добры ко мне — все птицы, кошки, попугаи, сидящие на ветвях в нашем саду и кричащие странными звуками. И я любила свою боль, потому что именно в минуты боли и отчаяния я оживала сердцем. И приходили души мёртвых, иногда пугая меня, иногда смешиваясь. И я рисовала их, я видела их стоящих толпами в нашем коридоре. Это было странно, но мне открывался мир. И я открывалась ему. Я не любила ходить в церковь, потому что там было много старых женщин, которые хотели взять меня за мои кудрявые длинные чёрные волосы, за мои голые руки. И, приходя домой, я падала обес-

силенная и могла спать сутками, потому что эти старые женщины забирали у меня силы. Они видели, что я отдаю им жизнь. А мне не хотелось им её давать, потому что они много боли принесли этому миру. И я это видела.

Да, мою мать звали Роса. Роза. Красивое имя с шипами. Как и она сама — красивая, колючая, но одинокая, ранящая и раненая одновременно.

У матери было много татуировок. Не как у тех женщин, которые делают татуировки в салонах, такие красивые, аккуратные. Нет! Те, которые делают в подворотнях, тюрьмах и подвалах. Те, которые не сводятся больше никогда, оставаясь как шрамы на теле корабля, зацепившего боком рифы или гранитные скалы.

На левом запястье — роза, о которой я говорила. Чёрная, с шипами и без лепестков. Как будто лепестки ободрали, и остался только стебель с шипами, с каплей крови на колючке. Это была первая татуировка, сделанная ею в четырнадцать. Она сделала её после того, как первый мужчина вошёл в неё не по любви, а взявший её силой.

На правом предплечье — имена. Четыре имени. Четыре мужчины. Четыре ребёнка. Имена зачёркнуты, как веткой на песке, но не все. И она бы рада их забыть, содрать с кожей, но имена, как и кожа, остаются навсегда, пока дышит и бьётся сердце. Имена не забываются. Они остаются в глазах детей, которые смотрят на тебя глазами этих мужчин.

На шее, за левым ухом — ласточка, маленькая, синяя, с

расправленными в отчаянье крыльями. Как будто она хочет сорваться с места и улететь, но не может. Потому что она уже не птица. Она клеймо.

На рёбрах, под левой грудью — дата моего рождения. Не имя моё, лишь дата. Как будто я не человек. Как будто я событие. Которое случилось. И которое нельзя отменить. Но можно не называть, как тишину, что не хочется спугивать.

Я видела эту татуировку. Каждый раз, когда мать кормила меня грудью. Каждый раз, когда она обнимала меня. И когда она пыталась меня убить. И даже когда она стонала под другим мужчиной, широко раскинув свои ноги, эта ласточка обливалась потом, и капельки влаги стекали по её крыльям, как будто плакала она, эта перепуганная птица, и плакало небо от боли и стыда.

Матери было пятнадцать, когда она родила меня.

Пятнадцать. Ребёнок, который породил на этот свет ребёнка, желающего ещё бегать и смеяться, влюбляться и страдать от любви. Вдруг родила недоношенную пятимесячную девочку, которую отторгал её организм. У матери отрицательный резус-фактор крови, а у меня, у её дочери, — положительный. Моя бабушка приняла на себя все заботы обо мне. А дедушка, увидев меня такой крохотной, что я помещалась в двух его ладонях, заплакал. Мать хотела сделать аборт, но дедушка и бабушка настояли на том, чтобы она этого не делала. Меня уже тогда неведомые силы оберегали, чтобы я жила! Меня никто не хотел. И когда мама сказала,

что будет делать аборт, дедушка, положив ей руки на голову, сказал слова, которые остановили мою мать: «Роза, я буду крёстным отцом своей внучки. Не убивай мою внучку. Прошу тебя Иисусом Христом». И Роза сохранила мне мою жизнь. А может, это дедушка? А может, это сам Христос?!

ГЛАВА 2. ПЕРВАЯ КРОВЬ

Отец мой был восемнадцатилетним красивым жигало с глазами цвета ночи, в которых утонули многие девушки. Его улыбка обещала всё, как обещает дьявол, никогда не сдерживающий обещаний. Он был из древнего клана Аренас. Но тогда я этого не знала. Тогда я знала только одно: он ушёл после того, как я родилась. Ушёл, не сказав ни слова. Не оставив ни имени, ни адреса, ни надежды. Ничего. Кроме надрывно кричащего ребёнка рядом с несчастной пятнадцатилетней Розой и её розой на запястье, уже не в силах когда-нибудь расцвести.

Он уходил всегда. Не только от матери. От всех. От каждой. Он глумился над невинными девушками. Брал. Оставлял. Уходил. Не оглядываясь. Не извиняясь. Не возвращаясь. Это было его природой. Как дыхание, сердцебиение, как то, что не останавливается никогда. И после него по всей Аргентине много брошенных им несчастных женщин и, конечно же, детей, которые теперь мне приходится родственниками.

Но он изредка мог вернуться ко мне. Как подарок, подаренный в долг, который забирают обратно. Который принадлежит только на время праздника, а после этот подарок временного пользования бесцеремонно кладут обратно в короб-

ку и увозят. Так было всегда и со мной. Женщины, с которыми он жил, всегда мешали нам общаться. И как-то мне один мудрый и великий мужчина сказал: «Простишь отца — простишь будущего мужа. Переступишь через отца — споткнёшься об мужа».

Он приходил на час. На два. На ночь. Приносил конфеты или платье, а иногда и ничего. Смотрел на меня долго и внимательно. Не как на дочь, а как на вещь, которая выросла и стала похожа на него. А затем так же легко уходил. Но были моменты, когда он плакал, не объясняя мне ничего. И я ждала следующего раза. Пусть даже без любви, пусть даже молча и без слов, но мне страшно хотелось видеть своего отца, который был по сути моим идеалом. В которого влюблены, как все девочки влюблены в своих пап.

Мне было семь, когда я впервые умышленно порезала свою руку.

Не потому что хотела умереть. Тогда я хотела почувствовать что-то такое, что сродни пустоте и наполненности одновременно. Это когда кричишь со всей силы, но у тебя нет звука. Как в страшном и удивительном сне, в котором ты не можешь проснуться. Во сне, в котором меня не видят и не замечают. А ещё я хотела убедиться, что я живая, что моя кровь течёт и что от того, что пускаешь много крови, сердце начинает биться громче и сильнее. А ещё — что я не призрак, что я не сон и даже не тень, а та, которую когда-нибудь полюбят и назовут любимой, подхватив на руки и защитив

от всего, больше никогда не выпустят из своих объятий.

Я взяла лезвие, такое маленькое, узенькое и гибкое, как моё тело, и провела по своему запястью с тонкой прозрачной кожей, немного бледной от малокровия, от которого у меня часто болят ноги, я падаю в обморок, и ещё мне всегда холодно. А мои руки в моих карманах — как две холодные лягушки, даже когда в Кордове жара и все стараются не выходить днём на улицу.

Кожа разошлась, как рванный лепесток розы, так быстро и так неожиданно! Она была горячая, живая, бьющая маленьким фонтанчиком, и я заплакала от счастья, понимая, что я живая, а не выдуманная! Я настоящая! И это осознание стало для меня большим, чем понимание того, что я рождена матерью и отцом.

Я резала себя потихоньку, почти каждый день украдкой, закрывая следы порезов длинными рукавами своих платьев. Не каждый день. Но часто. Когда было тихо. Или когда мать была с очередным мужчиной в моей спальне даже днём, и я слышала её экзальтированные крики, громкие всхлипывания, уже давно не скрываемые, так что даже когда появился отчим в нашей семье, она позволяла себе ходить абсолютно голой. Её фигура после четырёх родов, постоянного курева и алкоголя уже давно не блещет стройностью и красотой. Но её большая грудь и латинский зад очень и до сих пор привлекательны для мужчин разных возрастов.

Когда отец не приходил. Когда братья и сёстры спали. Ко-

гда дом затихал. И я оставалась одна. С лезвием. С кровью. С тишиной, которая была громче крика. Громче плача. Громче всего.

Я резала. И прятала так, что никто не догадывался. Да и всем, по большому счёту, было плевать, что со мной и как у меня дела в проклятой школе, куда я ненавидела ходить.

Мне было девять, когда я впервые попыталась повеситься. Не потому что хотела умереть, а чтобы боль прекратилась, и тишина прекратилась. Чтобы прекратилось ожидание, прекратились взгляды на меня как на нечто несуразное и одновременно редкое. Как на удивительного динозавра, останки которого найдены в болоте: он никому не нужен, но представляет научную ценность для очень узкого круга людей, строящих на его костях свою жизнь и благополучие. И конечно же, как на того, кто украл юность, детство и кого нельзя любить за это, но и нельзя ненавидеть одновременно. Как на живое напоминание о боли. О предательстве. О несложившейся личной жизни.

Я взяла верёвку. Не помню откуда. Помню только, что она была грубой. Пахла чердачной пылью и старыми газетами, которые уже очень давно никто не брал в руки. Я привязала её к балке. Встала на табурет и накинула петлю сначала на руку. Я не хотела. Совсем не хотела умирать. Я хотела, чтобы кто-то меня остановил. Чтобы кто-то вошёл и громко крикнул: «Мими, не надо!» И, обхватив меня за мои хрупкие плечи, громко разрыдался в страхе меня потерять. И плакал,

и держал долго. И я хотела испытать это счастье. Но никто не вошёл. Никто не сказал. Никто не обнял меня. Я стояла на табурете с петлёй на руке и ждала. Ждала чуда, которое не сбылось.

И тогда я услышала. Песню. Тихую и такую далёкую. Как будто откуда-то из-под пола. Из-под сердца самой земли. Эта песня не имела слов. Не имела мелодии, которую могут слышать люди и тем более воспроизвести. И это было так чудесно, что я в песне услышала не мозгом, а всей своей сутью: не надо, милая, не надо. Потому что ты пришла на эту землю жить. И ты наше солнце и радуга. Живи, Мими. Живи.

Я не знаю, кто это пел. И до сих пор до конца не уверена, было ли это на самом деле. Но я это услышала. И слезла с табурета, сняв петлю. Затем положила верёвку на пол и пошла спать, не причитая. Просто пошла, как будто это было не со мной. Оставив единственное и непоколебимое желание жить.

Мне было десять, когда мать впервые попыталась меня утопить.

Это было с отчаянием, ломающим изнутри, с желанием мстить своему мужу и моему отцу. За юность. За алименты, которые он не хотел платить. И за то, что я рассказала отцу, что мать приводит в дом чужих разных мужчин. Сначала она повалила меня на пол в ванной и стала бить ногами в живот, с диким остервенением и криками, стараясь попасть мне под дых и по моей начинающей наливаться маленькой груди. А

затем стала прыгать на моей голове. Мне не было страшно. И даже больно. Мне было смешно от того, что мне не больно. А Роза, видя это, с остервенением добивалась того, чтобы я просила пощады, просила милости от неё, ведь она отдала свою молодость в обмен на мою никчёмную жизнь. И, видя, что это не оказывает никакого воздействия, она затащила меня в ванную, таща за волосы по холодному полу, залитому кровью из моих губ и носа. И это было как во сне или как в трансе. И она сама вела себя как человек, который не понимает и не видит, что делает, и не может остановиться.

Она наполнила ванну, а я лежала на полу, вся в крови. Ключья волос лежали тут же, втоптанные в запёкшиеся кровавые разводы, напоминающие причудливые японские иероглифы, написанные красной тушью на белом знамени, несущемся в атаку, под шум воды, наливающейся в ванную. Вода была не тёплой и не холодной, подобно слезам моей матери, падающим на моё лицо, сорвавшимся из её глаз, когда она, склонившись надо мной, душила меня двумя руками, заглядывая мне в лицо, наслаждаясь моими страданиями, но их не было. Я улыбалась и говорила: ты не убьёшь меня, потому что меня защищает больше, чем просто Бог. За мной стоит вечность. И когда мать схватила меня за волосы и моя голова, схваченная за мои роскошные волосы латиноамериканской девушки, погрузилась в воду, я с открытыми глазами увидела нечто, что улыбалось мне и обнимало моё лицо светом. И в этот момент руки Розы разжались, и она упала без

памяти на белый кафель, исписанный моей кровью.

А я, не сопротивляясь, продолжала смотреть на это нечто, которое мне улыбалось и, подобно солнцу, одаривало меня теплом любви, покоя, радости — всего того, чего я желала с детства. Стоя рядом с матерью, едва начав ходить и задрав голову, я смотрела на то, как она красит свои губы перед зеркалом, примеряя наряды, совсем не видя меня. Свою дочь.

Мелодия — та и не мелодия — продолжала во мне звенеть и говорить: живи, живи, живи.

И когда мать пришла в себя, она с криком обняла меня и горько, громко зарыдала, с пониманием того, что ради возвращения отца она была готова убить меня. Ради чувств, которые она испытывала и испытывает к моему отцу до сих пор. Она готова положить и свою жизнь, но признаться в этом себе и тем более ему она не может!

Так мать плакала впервые. И я увидела и услышала в ней ту пятнадцатилетнюю девочку-подростка, ту самую юную Розу, которой скоро предстоит стать и мне.

— Прости, Мими, — прошептала мать. Тихо. Почти неслышно. Как молитву, как проклятие, как то, что не должно произноситься вслух, но произносится. — Прости! Я не хотела. Я не знаю, что со мной. Прости!

Я не ответила. Не могла. Не хотела. Я тихо и просто лежала. Моё мокрое тело дрожало, но не от страха, а от понимания, как огромен мир, который стоит позади меня, и как сильно моё желание жить. А песня продолжала литься ни-

откуда, продолжая наполнять меня жизнью — миллионами трепыханий крыльев колибри в моей груди.

Несмотря на её желание извиниться в тот раз, несмотря на пылкие слова о прощении, мать ещё несколько раз меня топила. Я не хочу перечислять, когда и какие это были сцены. Я лишь помню моё погружение под воду между каждым вздохом перед погружением и выдохом, когда поднималась наверх моя голова. Я помню все паузы. И помню её руки, запущенные в мои кудрявые волосы.

ГЛАВА 3. ТРИ ИМЕНИ

Мне было тринадцать, когда я решила повеситься на свой день рождения.

Я не хотела празднования и лицемерных улыбок гостей. Я хотела тишины и покоя. Любви и объятий бабушки, шуток дедушки и, конечно же, домашнего уюта. Однако мой праздник превращался в вертеп, когда моя мать, упившись, снова завалилась на мою кровать с очередным мужчиной и занялась сексом.

Я взяла ту самую верёвку с чердака, которая пахла пылью и старыми газетами. Затем привязала верёвку к балке в сарае за домом, где никто не ходит и не видит. Встала на табурет. Накинула петлю на шею. Но в этот раз не на руку, а на шею. Потому что мне было тринадцать и мне казалось, что я устала. Устала ждать и надеяться. Устала любить мир, который не любил меня. Устала быть той, кого не замечают. Устала быть невидимой и ненужной Мими.

Я закрыла глаза и услышала ту самую песню без слов, которая пела: не надо. Ты нужна. Живи для того, кто бессмертно живёт внутри тебя.

И тогда я увидела пылающую руку, протянутую мне из пустоты, висящей в воздухе. Рука была тёплой и живой. Она коснулась моей щеки тихо и осторожно, как касаются того,

что могут разрушить и потерять, но не должны этого делать.

— Джульетта, — сказал голос. — Не сегодня. Не так. Не сейчас. Живи.

И я слезла с табурета, сняв петлю, и отшвырнула верёвку в сторону от себя, как будто это была ядовитая змея.

Я не знаю, кто это был. Не знаю, было ли это на самом деле. Но я слышала. Я чувствовала и жила. И это было больше, чем я могла просить, больше, чем я могла надеяться. Больше, чем я могла мечтать. Я жила, несмотря ни на что, благодаря чему-то. Тому, что не отпускало меня никогда.

Отец забрал меня, когда мне было четырнадцать.

Не из любви или каких-то чувств ко мне, вдруг вспыхнувших в его сердце. Умер глава клана Аренас, и нужен был наследник. У отца не было сыновей в том смысле, которые могут продолжить дело его рода. Те два сына, рождённые после меня, физически, а точнее умственно, не могли быть претендентами на наследников. Как старший, так и младший, рождённые от разных женщин, страдали аутизмом в той или иной форме. В нашем роду это наследственное по линии отца. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. У меня, возможно, и был или есть аутизм, но доктора и психологи, которые меня наблюдали и обследовали, не выявили чего-то критичного, а потому сказали отцу, что его дочь здорова. Но требуется обязательно обильное питание мясом и овощами на регулярной основе ввиду очень низких показателей гемоглобина в крови.

Папа приехал в Кордову, в наш маленький дом, который достался нам от одной доброй аргентинки, навсегда покинувшей Кордову после смерти всех своих близких. Продав второй дом и собрав все вещи, она долго тепло прощалась с нами на пороге теперь уже нашего дома, покинула нас навсегда, и мы даже ничего не знаем о судьбе этой прекрасной аргентинской женщины. Прожив свои годы в своём прекрасном городе, я искренне люблю свой народ, аргентинцев. Я люблю его так, что иногда мне кажется, что я растворилась в нём. И где бы я ни была, со мной мой любимый Fernet, родиной которого является именно мой город Кордова. И мой наивкуснейший во всём мире альфахор, особенно приготовленный золотыми руками моей бабушки Адрианы. Бабушка, мой ангел-спаситель, шедшая рядом со мной всю жизнь, и я искренне благодарна, что именно бабушка рассказала мне, насколько прекрасен мой аргентинский народ. И сколько этот народ выдержал боли, как трудно было нашим женщинам, потерявшим своих детей в войнах и восстаниях, детей, которых невозможно вернуть. Где бы я ни была, я часто возвращаюсь мысленно в Манзана Хесуитика, завораживающую своей красотой, и к тем сказочным видам хребта Сьеррас-Чикас, великаном стоящего на страже моего любимого города. Мой народ, которому я принадлежу до последней капли моей крови, ещё и очень умён и по-настоящему заслуживает названия La Docta, являясь интеллектуальным и духовным центром Аргентины наравне с Буэнос-Айресом.

В ту самую комнату, где мать пыталась меня утопить, вошёл отец с видом угрюмого надзирателя и, даже не сказав мне приветствия, как это принято у вежливых аргентинцев, сразу внимательно и с пронзительным холодком взглянул на мою мать. Во взгляде была отрешённость и неуютная память прошлого, его расставания с ней, принёсшего ему, как и ей, много неприятных моментов. И они понимали, что виноваты во всём оба, но обратного пути уже нет. У неё свой мужчина, а если быть честной, то черед. Как и у него женщин целая шеренга, и далеко не лучших. Увы. Взрослые так живут, им так нравится. Они потом жалеют, но об этом они вспоминают лишь тогда, когда потеря прошлого сильнее потери настоящей. И каждая следующая встреча, переросшая в отношения, почему-то всегда хуже предыдущей. Роза смотрела на него с лёгким недоумением и с деланным металлом равнодушия, спросила: «Тебе чего?» И голос её дрогнул. Она задрожала от душевной боли и страсти к нему. Она хотела броситься к нему на шею и закричать что есть сил: «Прости меня, я люблю тебя!» — и разрыдаться, как та маленькая пятнадцатилетняя девочка, носящая под своим юным латинским сердцем новую и прекрасную жизнь — меня.

— Я забираю Миа, — сказал отец, не дав опомниться Розе, всё ещё находящейся в замешательстве. В клане Аренас никогда не спрашивали мнения младших, а женщин тем более. В нём слова старшего были приказом, а не мнением.

Мать не стала возражать или задавать вопросы. Она пона-

чалу стояла в замешательстве, не понимая, зачем это вдруг ему пришло в голову забрать Мими куда-то после стольких лет его избегания и равнодушия. Как будто Мими и не была кем-то ему по крови. Но тем не менее мать, на удивление себе самой, ответила:

— Забирай! Но знай, — продолжила она, — она не твоя и никогда твоей не станет. Потому что в ней моя душа, а ты лишь тот, кто бросил семя. И ты будешь проклят за то, что ты со мной сделал, — в сердцах ответила мать.

Отец лишь усмехнулся и ответил:

— Ты, женщина, знай своё место. Я так решаю, как я решаю. И не важно мне, кто встанет на моём пути — дьявол или ты. Она была и есть моя кровь. А то, что я держал её в суровости, то я знал, для чего я это делал, даже когда мне приходилось наступать себе на горло, видя, как больно ей будет от моих слов и решений. Ты, женщина, не умеешь видеть дальше своего куриного носа. Она внешне девушка, но внутри она мужчина, и я это видел. Потому она играла с детства с оружием и дралась с мальчишками как ровня. И кто, думаешь, был этому учителем? Ты что ли, вертихвостка? Я её учитель, я её хранитель, и я её направляю в нашем роду так, как я этого желаю и как желает наша кровь Аренас.

— Даже если ты заберёшь. Даже если ты увезёшь. Даже если ты научишь её быть мужчиной. Она моя навсегда, — уже со слезами на глазах ответила мать, вот-вот готовая сорваться в истерику на крик.

Что было написано в моей крови задолго до моего рождения, я не могла изменить. Да и, честно, у меня даже не возникло мыслей по этому поводу. И это я осознала в тот час, когда собирала свои скромные вещи в небольшую дорожную сумку.

Уходя из родного дома, где я пережила много боли и страданий, я впервые почувствовала непреодолимую тоску расставания с матерью и то, как дорога мне эта женщина. Непроста говорят, что аргентинские дочери никогда не предают своих аргентинских матерей, даже ценой своей собственной жизни. Я обернулась на мать, стараясь не показывать своих слёз и боли. Мать стояла в проёме парадной двери, отвернув печальное лицо в сторону, так что за её ухом я вновь увидела ту самую ласточку, отчаянно трепыхавшуюся в тщетной попытке сорваться на волю все те годы, что я вижу и знаю её. Ласточка, с образом которой связана вся моя жизнь в этом доме. «Мама, ты прости меня», — сорвалось с моих губ, и я заплакала. Заплакала так, как весенний кордовский дождь, падающий тёплыми тяжёлыми каплями на молодую поросль нашего сада.

Мать повернула своё лицо ко мне, и в её складочках вокруг губ, немножко вытянутых в трубочку, как у девочки, обиженной на подружку, появилась едва заметная улыбка. Если бы я не знала свою мать, то навряд ли бы это заметила. И она в ответ мне ответила таким же тихим шёпотом:

— Доченька, прости меня за всё, что я тебе сделала пло-

хого. Ты лучшая и лучшее, что было и есть навсегда в моей грешной жизни. Прости, что я не дала тебе счастья. И сейчас, в этот миг расставания, в эту минуту моего осознания всего, что было между нами, прошу тебя: не возвращайся больше никогда. Потому что твоё счастье — быть как можно дальше от меня, как можно дальше. И пусть наша любовь на расстоянии станет флагом твоего счастья, которого ты заслуживаешь.

Затем мать молча развернулась, не дав мне даже сказать слова в ответ. И так же безмолвно и тихо закрыла за собой входную дверь.

Эту дверь, закрытую с лязгнувшим изнутри ржавым засовом, я оставила в своём сердце навсегда.

С моим приездом в усадьбу Аренас отец ежедневно обучал меня стрельбе из пистолета: сначала по банкам, затем мы перешли на мишень. А затем отец достал из картонной коробки молодого белоснежного кролика и, дав его мне в руки, сказал: «Смотри, какого прекрасного друга я тебе привёз, чтобы ты не скучала!» И я с восторгом взяла на руки этого кролика. Он был таким прекрасным, его оранжево-красные глаза смотрели на меня глупым взглядом, и я, дав ему капустный лист, с умилением гладила его, восхищаясь его удивительной шерстью и длинными ушами, торчащими в разные стороны, на ощупь похожими на тёплые бархатные лоскутки одеяла, которыми я укрывала свою любимую куклу Марилу.

Спустя полчаса отец, прервав мою игру с ушастым, приказал мне принести этого кролика на лужайку, чтобы он мог поесть свежей травки. Я с радостью и готовностью побежала за ним и принесла трепыхающегося и немного сопротивляющегося кролика, посадив его тут же на садовую лужайку, покрытую сочной травой, которую он без промедления принялся поедать, смешно шевеля длинными ушами, с шумом поедая травинки. Из-под своего подола рубахи отец достал пистолет марки Ballester-Molina, уверенным жестом передёрнул затвор и, вручив мне этот тяжёлый кусок металла, ещё хранящий тепло его спины, спокойным голосом, полным равнодушия, спросил:

— Ты помнишь марку этого пистолета?

— Да, отец! — с улыбкой ответила я.

— Назови, — так же вторил мне отец.

— HAFDASA, Hispano Argentina Fábrica de Automotores Sociedad Anónima! — по-армейски чётко и громко ответила я.

— Молодец, дочка. А сколько в магазине патронов?

— Семь! — ответила я.

— Калибр?

— Сорок пять дюймов! А в миллиметрах — одиннадцать и сорок три! Длина двести шестнадцать, длина ствола сто двадцать семь!

— А вес в снаряжённом состоянии?

— Один килограмм ноль семьдесят пять грамм!

Отец довольным взглядом посмотрел внимательно мне в глаза, и я впервые почувствовала в них отцовское тепло. Но это было лишь мгновением. Мгновением, которое так же исчезло.

— Видишь этого кролика, Мими?

— Да, папа! Он прекрасен!

— Застрели его! Сейчас же!

— Папа, но это же кролик, он никому ничего плохого не сделал!

— Стреляй!

— Нет, отец!

— Тогда я дам тебе выбор!

— Папа, я не буду в него стрелять!

— Хорошо. Сейчас я тебе дам выбор. Ты вместо кролика выстрелишь или в свою ногу, или в меня. И это моё окончательное решение, — добавил отец. — Твоё право решить, кто тебе дорог. И ещё, вспомни, сколько мяса ты съела за все годы жизни. А смерть этого кролика ничего не изменит, но закалит тебя. Потому что ты моя кровь и тебе придётся решать те задачи, которые под силу только тебе. А ещё аргентинец без мяса, сама знаешь, жить не может. Потому что он хищник, а не жертва.

Кролик мирно продолжал щипать травку, забавно подбрасывая свои задние лапы при каждом небольшом подскоке по траве, взмахивая в такт своему телу пушистым хвостиком, таким же белоснежным, как он сам.

— Папа, помоги мне! — И я посмотрела на отца глазами, полными слёз, понимая, что этого требует сама жизнь, которая мне даёт уроки для чего-то, только ей известного.

Отец присел рядом со мной на своё колено, чуть правее за моей спиной, и, взяв мою руку, держащую пистолет, направил ствол в тело кролика. И затем шёпотом, едва слышно, произнёс:

— Медленно, очень медленно нажимай на курок. Смерть так же сладостна, как и жизнь. Забери её у того, кто встанет на твоём пути. Забери, не раздумывая, ради нашей семьи и себя. Ты Арена. Ты единое целое с нами.

Я медленно, как в тумане, потянула указательным пальцем за курок, и раздался оглушительный выстрел. Не такой, как я стреляла по банкам или мишени. Это был звук оборванной жизни существа, убитого мной впервые в жизни.

Кролик был ранен и напуган. Из него брызгала кровь по траве, и я, шокированная этой картиной, стояла в ужасе, не понимая, что мне делать дальше! И снова в ухе раздался спокойный шёпот отца:

— Не мучай его, стреляй! Добей его сейчас же, — всё так же продолжая поддерживать мою руку с направленным в кролика дулом пистолета.

И я вдруг почувствовала странный вкус крови и власти, так что без промедления тут же нажала ещё и ещё, пока не раздался сухой, почти беззвучный щелчок спускового механизма, прекративший выстрелы.

Я училась убивать. Училась убивать спокойно, как это делал мой отец и все мужчины нашей семьи, если и когда это было нужно. После смерти, а точнее убийства кролика, спустя годы моего закаливания внутреннего стержня, последовали убийства уже настоящих людей. Преимущественно я убивала мужчин — тех, кто был юн, и тех, кто был более старшим, и даже преклонный возраст не вызывал во мне жалости. Ведь и они готовы были меня убить, как они это делали раньше с другими, такими же, как я.

Но я любила и продолжаю любить колибри, аргентинские лазурные рассветы и закаты над Сьеррас. Я люблю лежать в сочной траве, как это делают птицы, кошки, или просто, взобравшись на дерево, сидеть в окружении вечно смеющихся попугаев, уже привыкших ко мне и обнаглевших до такой степени, что могут бесцеремонно взобраться мне на голову, чтобы порыться в моих волосах, как в своём собственном гнезде. Как же удивителен мир природы! О, моя Аргентина! Моя Родина и моя душа, летающая с голубиными стаями над площадью Пласа Сан-Мартин, над головами старых женщин, продающих цветы у церквей и соборов, изливающих серебряный перелив колоколов. А этот божественный запах кофе, самого прекрасного в мире кофе в «Эль Хасмин», испытый мной под смех бегающей детворы и музыку! Музыку улицы, льющуюся из окон и ресторанов, и не важно, что это — задорная чакара, чувственная самба или милонга с неповторимой аргентинской гитарой! Это моя жизнь и моя судьба.

Мне двадцать семь.

Я стою на балконе удалённого поместья Аренас в тех самых горах Сьеррас-де-Кордова. На рассвете горы имеют самые разные розовые и коралловые оттенки, меняющиеся с палитрой бирюзы и переходящие в оранжево-золотой перед самым восходом солнца. И встреча рассвета с чашкой горячего кофе в руках — это моя традиция с того дня, как отец привёз меня в этот дом. И я сделала себе в честь моего совершеннолетия надрез на своём запястье лезвием из бритвенного станка моего отца. Я сделала его в виде молнии. И так ровно, так искусно, что я даже любовалась этим шрамом. Странно, наверное. Но правда, мне нравится то, что не нравится большинству. Как, к примеру, убийство людей — теперь мне нравится тоже.

Я мечтала о любви. И дала себе слово: имя моего первого мужчины будет находиться в татуировке на моём лобке. Я останусь ему верной до конца своей жизни. Потому что я не хочу менять мужчин, как делала моя мать. Как делали все мои одноклассницы и соседки, когда их мужья уходили на работу. Я хочу с гордостью смотреть в своё отражение и знать, что я честна себе и честна перед тем, кто войдёт в меня первым, единственным, как буква в алфавите «А». Клянусь!

И это будет единственная татуировка на моём теле. А шрамы — а шрамы это летопись моего детства и юности, а теперь и совершеннолетия. И это моя тайна, о которой знаю лишь я, и только я.

Из глубины комнат, сквозь колышущиеся шторы раздался голос моего отца:

— Мими!

И, поставив чашку ещё с тёплым кофе на перила террасы, я направилась на зов отца.

— Иду! — крикнула я ему, спускаясь вниз по широкой каменной лестнице с мраморными ступенями, приятно охлаждающими ступни моих босых ног.

Отец, увидев меня босой и в длинном шёлковом халате, сидя в глубоком кресле у камина с газетой в руках, сказал:

— Сегодня ты отправишься в Кордову, в кафе «Эль Хасмин». Дальнейшие инструкции получишь позже, по ходу пьесы. Собирайся сейчас же, Джу, — добавил отец.

Он редко меня называл Джу. А если это происходило, то только тогда, когда он переживал за меня. А обычно — или Мими, или просто Ми.

Меня зовут Миа Джульетта Арена. Дома меня звали Мими, а на войне меня будут звать Джуджу. А он — тот, кто позовёт меня Джули, шёпотом, таким, как меня ещё никто не звал и чего я никогда другому не позволю. Потому что это станет началом того, что я боялась, отвергала, но страстно желала, боясь в этом признаться себе, краснея от своей же безоружности перед своим желанием.

Я иду.

ГЛАВА 4. КАФЕ «ЭЛЬ ХАСМИН»

Отец никогда не повышал голос. В клане Аренас кричали только женщины. Моя мать кричала. И не вписалась.

Это не плохо и не хорошо. Это как есть. Но моя мать с её эксцентричным характером навряд ли долго прожила бы под одной крышей с Аренас. Здесь сильные говорили шёпотом. Иногда — просто взглядом. И этого было достаточно. Их слушали всегда.

Я сидела напротив отца в его кабинете на втором этаже поместья. Окно было открыто. Ветер с Сьеррас приносил запах жасмина и пыли. Над алыми розами сновали стайки пёстрых бабочек. Дорожки извивались жёлтыми змеями в тенистый сад.

На столе между нами стоял бокал красного. Густого, как запёкшаяся рубиновая кровь. Итальянского. Стол был массивный, из красного дерева, на тяжёлых ногах, вырезанных в виде переплетённых виноградных лоз. Отец предпочитал красное итальянское. И всегда говорил:

— Белое аргентинское — это как любовь к женщине. А красное итальянское — это как любовь к врагу.

Отец подвинул ко мне фотографию. Чёрно-белую. Снятую издалека телеобъективом. На ней — зрелый мужчина, выходящий из церкви. Высокий. Тёмный пиджак. Светлые лёгкие брюки свободного кроя, на итальянский манер. Каче-

ство снимка было не очень. Лицо объекта — в тени. Дальняя съёмка не дала того, что нужно.

Отец посмотрел мне в глаза. Внимательно. И сказал:
— Это Данте Моретти.

Имя прозвучало как выстрел. Как в тот роковой день, когда расстреляли несчастного кролика. Глава клана Моретти. Чистокровный сицилиец. На этой фотографии ему тридцать восемь лет.

Я смотрела на лицо в тени. Как будто вырезанное из камня. И наученное дышать.

Отец не заметил моего волнения. Сделал маленький глоток вина. Продолжил:

— Двадцать три года назад он убил моего младшего брата. Твоего дядю Томаса. Не в бою. В спину. Как быка, который ничего не ожидает. Вопреки кодексу чести. И в тот день, который был свят для нас. На свадьбе его собственной сестры.

Я молчала. Слушала. Не сводила глаз с фотографии.

— Завтра. Пласа Сан-Мартин. Семь вечера. Кафе «Эль Хасмин». Он будет там один. Без охраны. Информация проверенная. Из близкого окружения Данте.

Отец сделал ещё глоток. Усмехнулся.

— Предатели за деньги были во все времена. Ни хорошо. Ни плохо. Но замечательно, когда они у врагов. А не у нас.

Я подняла глаза.

— Глава клана Моретти будет один? Здесь? В Кордове? Неужели он думает, что в Аргентине может появляться вот

так. Без охраны. Без сопровождения. Не опасаясь ничего.

В голосе — лёгкая ирония. Отец медленно отпил вина. Не для храбрости. Для удовольствия.

— Ты в чём-то сомневаешься, Мими?

— Отец, я думаю так, как ты учил. Не верить даже самой себе.

Он усмехнулся. Многозначительно. Понимая: его оружие работает лучше, чем он предполагал.

— Хорошо, Ми. Думай. К нему на встречу придёт кто-то из наших. Тот, кто вышел на покой. По состоянию здоровья. Тот, кто продаёт ему наши поставки. Наши дела. Наши латиноамериканские страны. И Моретти идёт без охраны. Потому что верит ему. А значит, они давно вместе. Или здесь не только сотрудничество. Здесь близкие отношения.

— Приезжего итальянца в Кордове легко отличить от местного, — добавила я.

— Возможно, — сухо ответил отец. — Или здесь стратегия, которую мы не понимаем. Или Данте выжил из ума. Увлечённый властью и вседозволенностью. Если он заявляется сюда так свободно — он считает нас слабыми. Думает, мы не готовы.

Он поставил бокал. Звук стекла о дерево. Тихий. Окончательный.

— Но он ошибается. Мы готовы к войне. Всегда. Ты убьёшь его, Мими. Это решено. И мы закроем этот чёртов двадцатитрёхлетний долг.

Я смотрела на фотографию. На лицо в тени. И думала не о дяде Томасе. Не о мести. Не о крови. Я думала о том, что этот человек выглядел одиноким. Даже среди своих. Одиноким так же, как бываю одинокой я.

— Отец. Я могу спросить. Почему я должна ликвидировать этого должника? У тебя есть люди. Те, кто знает его в лицо. Те, кто сделает это за деньги. Почему я?

Отец долго молчал. Непривычно долго. Затягивал паузу. А потом ответил. И слова стали для меня неожиданностью.

— Потому что он должен увидеть наши глаза. Не глаза наёмника. Глаза Аренас. Он должен понять, кого убил двадцать три года назад. Должен увидеть это в лице того, кто нажимает курок.

Я поняла сразу: отец лжёт. Он никогда не говорил правду, если она сильнее лжи. Не плохо. Не хорошо. Просто есть. Но я не стала спорить.

— Да, отец, — сказала я.

Где-то в глубине дома вновь зазвучала та мелодия. Спасшая меня много раз. Вдохновляющая на жизнь. Я слышала её сквозь стены. Сквозь расстояния. Даже порывистый тёплый ветер, гудящий в дымоходе камина, не смог заглушить её. Из сада повеяло жасмином. Лавандой. Чабрецом. И что-то внутри меня сжалось. Неуёмное предчувствие. Вытеснившее страх. Вытеснившее сомнения.

Я ещё не знала, что завтра в семь вечера я не убью Данте Моретти. Я сделаю кое-что ещё более страшное.

Я ему поверю.

Вечером, вопреки настоянию матери не приходить, я всё-таки пошла в её дом.

Роза сидела у окна. Курила. Дым струился из её губ. Поднимался густыми клубами к деревянному потолку. Растворялся. Как её прошлые годы. Как её прошлые связи. Оставляя лишь запах. И боль.

Меня встретила всё та же роза на запястье. Всё та же ласточка за ухом.

— Ты идёшь завтра, — сказала Роза, не оборачиваясь. — В «Эль Хасмин».

Не вопрос. Утверждение. На грани вопрошания.

Я замерла в дверях. Роза не обернулась. Продолжала смотреть на горы. На потрясающие розовые закаты. Те, которыми ни один аргентинец не устанет любоваться.

— Откуда ты знаешь?

— Я знаю всё, что происходит в вашем доме, Мими.

Она затянулась. Выдохнула. Дым пополз к потолку.

— Я родила тебя. И я знаю, когда и чем ты дышишь. Когда чего хочешь. Когда впервые раздвинешь ноги. Я это не только узнаю. Я это почувствую. А завтра ты можешь сделать то, от чего тебе не захочется возвращаться домой. Никогда.

Я робко вошла. Присела на стул. Тот самый. На котором когда-то учила уроки. Играла с куклой Марил.

— Роса, — сказала я. Я редко называла её матерью. Чаще

— Роса. Это было честнее. — Зачем ты меня родила?

Она медленно обернулась. Посмотрела на меня. Пристально. В её глазах — буря. Шторм. При всей внешней тишине.

— По сути, дочь, я не родила тебя по доброй воле. Меня заставили. У меня отрицательная группа крови. У отца и у тебя — положительная. Те муки, которые я испытала, нельзя назвать тем, что я носила тебя под сердцем латиноамериканской женщины. Ты была для меня ножом. Внутри. Болью. Проклятьем. Я искренне хотела тебя убить. Потому что физически не хотела тебя. Не могла. И всё складывалось так, чтобы ты не родилась. Ты родилась как плевок. Пятимесячная. Несуразная. Уродливая. И я не так хотела.

Жестоко. Но честно. А честность Росы была дороже любой лжи. Ложь в нашем доме убивала. Честность — только ранила. Моя мать была честней отца. Она учила меня боли и мукам. И я ей благодарна. Потому что понимаю её боль. Потому что сама через неё прошла. И потому мне дорога моя мать.

— Но я не утопила тебя, — продолжила она. Тихо. Почти шёпотом. — Четыре раза я могла. Четыре раза держала твою голову под водой. И четыре раза что-то останавливало мою руку. Не знаю, что. Но, видимо, Бог, в которого я верю, каждый раз останавливал меня.

Она затушила сигарету. Медленно. Прижала окурок к пепельнице. Посмотрела на свои руки. Те самые. Которые топили меня. И обнимали после того, как не утопили.

— Завтра ты пойдёшь убивать. И я не скажу тебе не ходить. Не имею права. Я пыталась убить тебя четыре раза. Кто я такая, чтобы учить тебя не убивать.

Она встала. Не спеша подошла ко мне. Положила горячую ладонь мне на голову. С особенной бережностью. Так касаются того, что боятся сломать. В этом прикосновении было всё от той пятнадцатилетней девочки. Которая так трудно родила меня. Не сломалась. Не погибла в водовороте событий. Не по силам ей в те хрупкие хрустальные годы.

— Но я скажу тебе одно, Мими. Пой. Что бы ни случилось. Пой сердцем и душой. Всегда пой. Как поёт в трудные годы наша аргентинская земля.

— Что?

— Пой, когда станет страшно. И темно. Когда будешь стоять над тем, кого должна убить, и не сможешь. Пой ту песню, которую пела тебе я. Ту, что звучала в дни, когда я топила тебя. И ты хотела убить себя.

Я стояла. Ошарашенная. С вопросом:

— Ты тоже слышала? Ты слышала ту песню? Почему ты мне ничего не говорила?

Роза надолго замолчала. Не сводила с меня глаз. В них я не видела ничего. Ни чувств. Ни сострадания. Лишь тихую бездну. Без дна.

— Потому что эта песня старше меня. И нас всех вместе. Старше твоего отца. Этого дома. Клана от самого его зарождения. Я боялась слышать. Боялась петь. Потому что она шла

изнутри. Я думала, что сошла с ума.

Она помолчала. Посмотрела в окно. На закат.

— Ты услышишь конец. И поймёшь, кто ты. А я не хотела, чтобы ты знала. Не тогда. В пятнадцать. Не в том мире, где я могла тебя утопить.

Она убрала руку. Отвернулась. К окну. К закатным горам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.